

Через месяц

Влас ДОРОШЕВИЧ

Облетели цветы, догорели огни.

Среди писем, полученных на моё имя в редакции, есть одно, которому не лежится ни в кармане, ни в портфеле. Оно просится в печать.

М.Г.

Прежде всего позвольте представиться.

Я — герой.

Я тот самый «великий маленький человек», или «маленький великий человек», о котором, когда Вы писали, слёзы умиления капали с Вашего пера.

Словом, я народный учитель.

Заплачьте:

— Какое святое слово!

Впрочем, вы, вероятно, думаете с тоской:

— А! Народный учитель!.. Вероятно, опять жалоба!

Нет, милостивый государь, мне жаловаться не на что. Своим положением я могу только хвастаться.

Я старый учитель. Служу делу более 20 лет. У меня — семь человек детей. Старшая дочь второй год учительствует. Вторая через несколько месяцев кончает семинарию и тоже начнёт учительствовать.

Мне остаётся поднять на ноги и вывести в люди остальных пятерых.

Чтобы сделать это на учительское жалованье, я не пью. Со дня рождения третьего ребёнка бросил курить. Сам обшиваю всю семью. Выучился шить. Выучился точать сапоги. И сам шью обувь на всё семейство.

Я из крестьян. Поступив на службу в одно из сёл этой губернии, я приписался к местному обществу. Но новые односельчане воспользовались этим, чтобы не выдавать мне квартирных.

— Раз здешний мужик, какие ему квартирные?

Я перевёлся в другое село и вот живу. Получаю 250 рублей в год жалованья, 50 квартирных, за 4 пятилетия по 50 рублей за каждое в год добавочных. Итого — 500 рублей.

Для чиновника, записывающего входящие и исходящие, для репортёра, пишущего о раздавленных собаках, для актёра, докладывающего «карета в барыне и гневаться изволит», было бы «ужас как мало». Для народного учителя — за глаза довольно, и тысячи моих коллег, прочитав эти строки, сказали бы:

— Вот счастливец!

Итак, жаловаться мне не на что. Я берусь за перо просто для того, чтобы описать вам, как я вернулся с учительского съезда.

Первым долгом я заехал в нашем уездном городе к инспектору, до которого у меня было дело.

Артемий Филиппович всегда встречал меня с недовольным лицом:

— Чего, мол, ещё притащился! Чего ещё надо?

На этот раз он как увидел меня, так весь и просиял. Улыбка во всё лицо, руки потирает:

— Ну, что? Побаловались? А? Отвели душу? А?

Молчу.

— Так как же? Нас, инспекторов, по боку надо? А? Упразднить? А?

Молчу.

— Делу мешаем? А? Тормозим? А?

Всё молчу.

— Бюрократическое отношение вносим? А? Самовластвуем? А?

Всё молчу, всё молчу.

— Поругали нас на парламенте-то на своём?
Смотрю, — у него на столе «Московские ведомости».
Поиздевавшись ещё таким образом, отпустил.
Приезжаю вечером к себе в село, наутро староста приходит:
— А мир с тебя, Василий Кузьмич, решил с весны за двух коров, за выпас, 10 рублёв положить!
— За что, про что?
— А так, мужички говорят: «Жалованье получает, водки он не пьёт! С него можно».
Основание!
— Куды ему? — говорят. — Он, ишь, и сапоги сам шьёт!
И дёрнул меня чёрт горб гнуть, над сапогами сидеть! Вот тебе и экономия!
Я должен в свободное время, согнувшись, за сапогами сидеть, чтобы им мои 10 рублей на пропой пошли!
— Вы, — староста говорит, — в Москву ездили у начальства жалованья выпрашивать, чтобы больше было. Нам же тяжелее.
Слухом земля полнится.
И откуда только у них слухи берутся!
В полдень зашёл батюшка.
Распрашивал о «светских удовольствиях». Но видно было, что другой вопрос у него на уме.
Наконец, только спросил:
— И о церковнослужителях тоже отзывались с порицанием? Начитаны, — говорит, — мы в газетах. Начитаны. Хотя и вскользь, но есть. Не похвально! Срамить-с на всю Русь? Я так думаю, что от высшего начальства... вас за это по головке не очень погладят!
— Ну, — говорю, — батюшка, я, во-первых, лично за себя никому отчёта давать не обязан: что я говорил, чего я не говорил, с чем соглашался, с чем не соглашался.
— Нет, нет! Я не говорю. Я не говорю.
— А во-вторых, относительно съезда и начальства, наш предводитель князь Долгоруков прямо заявил, что никому за высказанные мнения ничего не может быть!
— Ну, коли так, значит, так. Ему, конечно, лучше знать! А только мы на местах всё-таки знать будем, с кем дело имеем. Да-с!
И ушёл, едва попрощавшись, рассерженный.
Перед вечером заходил писарь.
Он у нас человек образованный. Свободное время — за книжкой.
Интересовался:
— А не видали ли вы в столице, Василь Кузьмич, сочинителя Максима Горького?
— Нет, не видал.
— Жаль, очень жаль. Интересно было знать, действительно ли так волосат, как пишут? И правда ли, будто ему рупь за каждую строку платят? Строку написал — рупь. Ещё строку — ещё рупь.
— Не знаю.
Перешли на съезд.
— Разъясните, — говорит, — мне. В толк взять не могу. Что такое, например, ваш съезд.
— Вот, — говорю, — собрались с разрешения высшего начальства, выясняли наши нужды, высказывали пожелания.
— Тэк-с! А начальство?
— А вот эти пожелания к нему и пойдут!
— Тэк-с! И оно как вы порешили, так тому и быть?
— Ну, это нет, — говорю. — Вы, Алексей Степанович, человек развитой. Вы поймёте. Наш съезд имел больше не практическое, а моральное, нравственное, общественное значение.
— Тэк-с! Ну, а пожелание-то? Пожелание?
— Пожелания выслушаны. Но, от вас не утаю, говорят, что вряд ли будут исполнены.

Примеры бывали.

— Тэк-с!

И смеётся.

— Это, — говорит, — вроде как я господина Гоголя сочинения читал: «Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». Там тоже Иван Иванович, как нищую встретит, беспременно расспросит. «А тебе очень, небоже, кушать хочется?» — «Очень, панычу!» — «Ты, может, хлебца бы теперь скушала?» — «Да уж там чего милость будет. И хлебца бы скушала». — «Да тебе, может, и мясца бы хотелось?» — «Да оно и мясца бы, если милость ваша такая, — хорошо бы!» — «Скажи, пожалуйста! Ну, что ж ты стоишь? Проходи, проходи! Ведь я тебя не бью!» Так и вас расспросили. Пожелание вы учебному начальству высказали. «Проходите, проходите! Ведь вас не бьют!» Хе-хе!

Тут уже я на него рассердился.

Он у нас по селу Мефистофель. На беду книг начитался и иногда очень ядовито цитаты приводит.

И вот я, «герой», о котором вы писали со слезами умиления, сижу снова в своей хибарке над сапогами. В окно глядит тёмная ночь, в трубе ноет ветер и у меня ноет, ноет в душе.

— За что они у меня отнимают последние 10 рублей? За то, что я тружусь и не пью?

Мне вспоминается встреча с нашим уездным предводителем на станции.

Наш уездный предводитель — отрадное явление.

Я вообще заметил, что за последнее время все уездные предводители в «отрадные» пошли.

Мы ехали со съезда в одном поезде.

Он — в первом, я — в третьем. Только всего и разницы.

Он ел на станции котлетку с горошком, я пришёл кипяточку набрать.

Остановка двадцать минут. Увидал меня:

— А, Василий Кузьмич! Подсаживайтесь!

Отрадные предводители перед съездом всех своих учителей по имени-отчеству узнали, кого как зовут. По крайней мере, тех, кто на съезд поехал.

— А, — говорит, — Василий Кузьмич! Подсаживайтесь. Поболтаем, Василий Кузьмич! Красненького не угодно ли, Василий Кузьмич? Недурное.

Разговорились, конечно, про съезд.

— Что, Василий Кузьмич...

Он так и повторял ежесекундно: «Василий Кузьмич», словно боясь, чтобы не забыть.

— Что, Василий Кузьмич? Бодрость духа со съезда несёте? Новые силы на великую работу, Василий Кузьмич?

— Силы, — говорю, — что же! Силы те же самые. А вот скажите, ваше сиятельство, каких вы результатов от нашего съезда ожидаете?

— Практических, — говорит, — быть может, и никаких! Но съезды имеют огромное общественное значение! Огромное общественное значение, Василий Ильич! Это смотры-с интеллигентных сил страны, Василий Ильич! Смотры-с передовых элементов, Василий Ильич!

Таки забыл!

«Смотры»...

И невольно шевельнулась мысль при этом слове. «Смотры».

Смотры — праздник для генералов, у которых «дивизии в порядке». Смотры — праздник для разряженных адъютантов, для блестящих офицеров, которым смотр — случай попародировать на кровном, англизированном коне. А спросите у простого рядового, что такое смотр? Он скажет вам, что уж легче поход, чем смотры.

— Дефиле! — как фыркнул наш Мефистофель-писарь, когда я упомянул ему про «смотры».

И вот я сижу над сапогами в своей хибарке. Ночь глядит в окно, в трубе ноет ветер, и у меня ноет, ноет на душе.

— За что у меня отнимают последние 10 рублей?

У героя-то! Совсем не геройские мысли?

Уже поздно. Пора бы лечь спать. Но сон бежит, и «недостойные меня мысли» идут в голову вашего «героя».

И наш «маленький великий человек» зачем-то садится за стол и принимается на бумаге беседовать, — не с вами, — с собой.

— Дефиле! — как говорит наш волостной писарь.

Я снова беседовал с ним о съезде.

— Вижу, — говорит, — события. А значения их не понимаю. Разъясните, пожалуйста. Ну, начальство на ваши «пожелания» либо взглянет, либо нет.

— Вернее, нет. Но, кроме учебного начальства, есть ещё земства, которые всегда чутки...

— Да что же земства-то без вашего съезда, что ли, не знали, каково таково есть ваше положение? Это и в Москву ездить не стоит, чтобы узнать, что человеку голодным жить невозможно. Это и на месте видать! Вон я в другой губернии служил, так там учителям и вовсе 20 рублей платят. Председатель управы, — отрядная такая личность, — с каким-то ещё отрядным барином приезжали. Остановились, — я разговор слышал. С большим чувством председатель говорил: «Светлая личность у нас учитель, отрядное явление, идейный человек! А! На 20 рублей с семьёй существует! Какую нужду терпит! В куске хлеба себе отказывает! А учительствует! Убеждённый человек!» Чуть слёзы не капали от умиления. А по-моему, стыдно! «Отрядное явление» — и голодает. У нас всё так: как «отрядное явление», так голодает, как «печальное исключение», так живёт припеваючи и на всём на готовом. Человеку за экий труд 20 рублей в месяц давать. На всю семью! Стыдно! Да делать-то что, ежели у земства денег нет? Потому и платят мало, что денег нет, и никакие ваши съезды...

— А значение съезда для нас самих? А общение? Общества взаимопомощи теперь будут как развиваться...

Только плечами пожимает.

— Да ведь ежели каждому есть нечего, много ли вы друг другу поможете? «Пойдём! — сказал безногий безногому. — Вместе-то идти веселей!»

— Я же вам говорил, что практических результатов съезд не даст никаких. Но моральные! Общество, по крайней мере, узнает, в каком положении находится народный учитель!

— Тэк-с! Дефиле, стало быть.

— Ну, дефиле!

— Это как я в газете читал, в Лондоне. Которые без работы — за ручки взялись, ребят перед собой, да так во всех своих лохмотьях по всем улицам и пошли. «Смотрите, дескать, люди добрые, какое наше положение!» На заседаниях, вы сами говорите, вам много разговаривать не приходилось. А в дефиле без слов всё видать. На манер маскарадной процессии, как я в газете читал, — очено занятно. Вот вы, например, Василий Кузьмич, впереди семь человек детей, за ними ваша супруга с корытами и белья при ней куча. А затем вы сами с дратвой, с шилом, с сапогом. Надпись: «А жалованье — 500, да и то за 20-летнюю службу!» А в руках у вас хрестоматия Галахова. Наглядно. Каждый дурак понял бы!

Чуть не выгнал его вон.

Но негодяй говорит убедительно.

— И откуда вы, Василь Кузьмич, взяли, будто общество вами интересуется? Ежели б в действительности интересовалось, никаких бы ваших «дефиле» не потребовалось. Давным-давно бы про ваше положение всё разузнало.

— Пословица есть: «Дитя не плачет, мать не разумеет».

— Так то про дур матерей говорится. Общество! Я по делам частенько у нашего помещика бываю. Он всё проекты сочиняет, а я переписываю, потому что почерк имею круглый. А он сочинять мастер, но чтоб понять было можно — Бог не дал. Так зайдёшь иной раз, ждать велят, общество у них. Разговоры. Дым коромыслом. «Сколько, например, министерство во французской республике продержится?» Господа наедут, крик, — того гляди, сцепятся. И выкладывают, и выкладывают! Про любого французской республики депутата спроси, такого

про него выложат, чего, может, он и сам-то про себя не знает! А им известно! Как же так, Василь Кузьмич? Про любого французского депутата всю подноготную знают, а чтоб узнать, как свой учитель живёт, им ещё дефиле нужно. Никакого интереса тут я не вижу.

Действительно, интересуется ли нами общество?

Не у нас только, но всюду, но везде. Интересуется ли теперешнее буржуазное общество народными учителями?

Немцы говорят:

— При Садовой победил школьный учитель.

А несколько лет назад по какому-то поводу выяснилось, что немецкие школьные учителя живут в голоде, в холоде. Их держат в чёрном теле, платят гроши. Это не жизнь, это — медленное умирание.

Немецкие журналы печатали, а наши перепечатывали картинки: лачуги, в которых живут в Германии деревенские народные учителя, лохмотья, в которых они ходят. На портреты жутко смотреть было: словно из голодающих местностей.

Ещё почище нашего!

Вот вам и герои-победители!

Общество живёт относительно нас романтическими представлениями.

Мы, народные учителя, что-то вроде пожарных.

— Их уж дело такое, чтобы собой жертвовать!

«Народный учитель».

— Ах! Святое дело! Ах! Святое дело! Ах, эти люди всем, всем жертвуют! Их и удовольствие такое, чтобы всем жертвовать.

Так и думают.

Раз я народный учитель, я только и смотрю кругом:

— Куда бы мне собой пожертвовать!

Встаю утром — сахару к чаю нет.

— Ах, какой счастливый случай! Сахару нет! Ах, как приятно хоть маленькую жертву принести! Буду пить без сахара!

На обед у меня — жертва. На ужин — жертва.

На ногах вместо сапог — жертва.

И мне других не нужно! Я и в жертвах похожу!

— Ах, сапог лопнул! Какое счастье! Ещё одна жертва на ниву народную!

Вы найдёте, быть может, что в моих словах много желчи?

Что же мне делать? Вся Русь залита желчью. Послушайте — все слова пропитаны желчью. Посмотрите — все лица полны желчи. Желчь разлилась в отечестве моём. Что же я за исключение?

— Общество, — говорят, — преисполнилось сочувствия к народным учителям!

Отлично.

У общества был и способ реально, наглядно выразить своё сочувствие.

Существует «общество попечения о детях народных учителей и учительниц». О нём много говорилось на съезде.

Что ж? Хлынул туда поток пожертвований от общества, охваченного симпатиями?

Поймите, что я не милостыни прошу!

Я просто хочу отделить чувство сентиментальности.

Здоровое, настоящее чувство от кислой, противной сентиментальности.

Маргарин от масла

Чувство сказало бы:

— Их дети обречены на нищету. Я могу помочь... Помогу.

Сентиментальность проливает слёзы:

— Ах, они не только себя, они и своих детей приносят в жертву! Ах, как это велико!

И ни с места...

Потому что чувство диктует:

— Иди и помоги!

Сентиментальность вызывает эффектные и трогательные представления. И с неё довольно.

И эта общественная сентиментальность, разлитая в воздухе, заставляет слёзы умиления капать с Ваших перьев, гг. публицисты.

Когда сыро в воздухе, каплет с желобов.

Эта сентиментальность, разлитая в воздухе, источает у Вас, гг. представители общественного мнения и всеобщей глупости, «прочувствованные строки».

«Учителя разъедутся со съезда, унеся в своей душе воспоминание о светлых и радостных минутах. И сколько раз там, в тиши снежных сугробов, под унылое завывание вьюги вспомнятся им эти незабвенные светлые дни, и засветят им, как звёздочки, как маяк среди непроглядного тумана, и согреют им сердце».

Это очень тронуло бы меня своей искренней глупостью, господа, если бы я на один день не задержался в Москве и не прочитал описания какой-то ёлки, устроенной дамами-патронессами для детей Хитровки:

«Дети вернутся в свои трущобы, унеся в душе воспоминания о светлой и радостной ёлке. И сколько раз там, во мраке и грязи «ночлежки», под пьяную ругань ночлежников, среди общего ожесточения кругом, вспомнится им эта ёлка, устроенная добрыми людьми, и засветит им своими огнями, как звёздочка, как маяк среди непроглядного тумана, и согреет им сердце».

Вы думали, что я уехал, господа, и что можно тем же печатным пряником, который я обмусолил уже, угощать других?

А я покупал дратву для сапог, в Москве она, думалось мне, дешевле, я обегал весь город, стараясь где-нибудь выторговать пяточок, и опоздал на поезд.

И так узнал о вашем сентиментальном мошенничестве.

У вас это, очевидно, готовый набор, господа!

Вы суёте всем в рот один и тот же обсосанный леденец для утешения.

Как у нас в деревнях «шпитомцами» суют всем одну и ту же грязную соску:

— Чтоб не плакал!

Уберите же ваши обслюнявленные пряники, милостивые государи, сосите сами ваши обмусоленные леденцы, бросьте совать всем в рот ваши грязные «утешительные» соски.

Здесь, «у себя в хибарке», как любите выражаться вы, под нитьё вьюги, воющей в трубе, сгорбившись над сапогами, которые я, народный учитель, тачаю вместо необходимого мне отдыха, — я, не скажу, чтобы спокойно, — но подвожу теперь, через месяц, итоги съезда.

Да, результат есть.

Результат большой моральной важности.

Съезд показал, что нам, народным учителям, не на кого сейчас надеяться.

Что ни от кого ничего, кроме «слов, слов, слов», нам ждать нельзя.

Что мы одни, совсем одни.

— Горькое сознание? — умиленно скажете вы.

Но правда!

А «правды нет и выше».

Правду знать необходимо.

Я прошу Вас извинить меня, что письмо вышло немного длинно, быть может, резко, быть может, грубо.

Но Вы ведь не мой инспектор. Ведь для Вас, как для меня, говоря словами Пушкина:

«Правды нет и выше!»

Не правда ли?

Всего Вам лучшего.

Ваш слуга, народный учитель (*следует подпись*).